

Иван Ильич Коновалов

Возгонка духа. Сборник

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28955341

SelfPub; 2018

Аннотация

В этой книге собраны стихотворения и поэмы, что звучит, должно быть, удручающе скучно. Но стихи – это игра, жизнь и самопознание абсолютного духа. Здесь лучшее, самое чистое и высокое, что взял мой голос. Оскальзываясь, оступаясь и срываясь порой, он – голос – взбирается вверх, и речь моя – о важном.

Стихотворения

(памяти Вл. Ив. Ивашкевич-Сорокина)

На учебной гитаре дека была в полпальца,
канитель на басовых струнах могла болтаться,
самой тонкой, сонорной был узок тяжёлой гриф,

что засажен был в корпус, будто колун в колоду:
очевидно халтурщик с мебельного завода
догадался гитары выпустить в перерыв.

Если брал её я, играл как медведь на щепке,
а наставника руки были мужицки крепки,
желтоватые ногти драли сплетенье жил —

и гитара срывала плачем надсадный голос,
далеко за пределами вкуса, на форте, голо,
дребезжа на порожках, как ни держи нажим.

О, качание ре в каприччо гортанной дрёме!
Камнерезы Альгамбры не признавали кроме
паутиных ковров убора для крепостей.

Перебивчатый шёпот тремоло чем-то сходен
с выпеваньем цикадой высушенных мелодий:
никогда не бывав в Гранаде, прощайся с ней!

А потом его рак сожрал. Я стоял не плача
над цветами увитым гробом. Судьба, удача —
что свело меня с ним? я мог бы его не знать.

Мы кружили этюда сумрачную шарманку —
полотно самотканно грубое: на изнанку,
на лицо ли взглянуть, но таг мы учились ткать.

Пёстрый цех инвалидов – тётки, студенты, дети;
он стежками скрывал огрехи, и шёлком эти
гладью по мешковине пущенные стежки

были отстранены и чисты, как размышленья
астрофизика развернувшего миг творенья
в туберозы галактик, в хрупкие звёзд снежки.

Хитроватый мужик – белёного льна белее
поседевшая шапка – он, извлекать умея
из дешёвой гитары вытканый нотный звук,

чаще самозабвенно врал: например о том, как
в гараже обнаружил выводок ос, потомков,
массу белых яиц в бумажном гнезде. Из рук

выпуская гитару, чтобы мою настроить

он показывал как нелепо гнездо без роя
распадалось в руках до белой, пустой трухи.

Резонансом, больные связки, дрожите в горле
и, не думая, что там дальше – почёт, позор ли,
строки-плакальщицы – рыдайте! Глаза сухи.

В деревнях так слепой грозой надрывались бабы,
вороньё подымалось, каркало – и хотя бы
тишина не висела моросью в молоке...

Нет! – гитара, цикады, небо как холст в красильне,
Андалусия в вызревающем апельсине,
бычьи жилы на каждом выструганном колке.

Янычар

Янычар, напевая тихо, идёт к костру.
Оттирает усы, смеясь набивает трубку,
и следит, как ветшает ночь на пути к утру,
приводя барабанный треск и возню побудки.
Он мешает табачный дым и угар костра,
проверяет – остра ли сабля? Как есть – остра.

Он пьёт чай, обжигаясь крепкой балканской тьмой;
мотыльками кружится пепел в суфийской пляске,

колыбельная, переставшая быть немой,
прорезается сербским говором без опаски.
Он смеётся в усы, гадая, в каком из сёл
народился на свет, но смех его невесёл.

И он смотрит, как ночь горит на сырых дровах;
солит порохом хлеб и чертит созвездья в небе,
в колыбельном напеве путает все слова,
остывающие в золе, молоке и хлебе.
Янычар сквернословит, сонно кусая ус,
и турецкая речь заметно горчит на вкус.

Рынок

Мертвые головы на прилавке,
тюкает в тушу топор мясницкий;
крытого рынка прохлада, низкий
говор гудит, а собаке гавкать,
лаять на привязи, ждать ответа...
Сладкою грудой лежат конфеты;
выговором не равнинным, острым
пряные травы на вес и в россыпь.

Посередине как перст, как столпник,
ящик держа на груди, священник

ждёт, – и проходят людские толпы.
Как же стеснялся я мелких денег

две-три бумажки просунуть в щёлку!
В рясе большой бородач ребёнку
кланялся чуть, и спросил однажды
как моё имя. Забыл – бумажных

денег я клал или горсть монеток?
И восстановлен ли храм – не знаю,
помню зато: если дело летом,
можно дверями с другого края

здания выйти, а там рядами
рыбки, котята, щенки; "Отдам" и
"В добрые руки" гласят картонки.
Щебет по клеткам, а прутья тонки,

и попугай, будто впрямь затеял
смелый побег обжимает лапкой
прутья и клювом скребёт, а тени
цельные, плотные, без залатки —

солнце в зените! И шли мы с мамой
по зеленщицким, и я, я самый
мимо рядов, как по длинной фразе,

арбуза тащил полосатый праздник.

Подражание Мандельштаму

Покуда спал, я всё ещё считал
идуших воинов по петушиным гребням.
Их шаг сминал разворошённый вал
степной травы. Пылал закат, неверно

и ненадолго обернув меня
багряной тогой изгнанных из Рима
былых царей. Я белое менял
на красное – таинственно, но зримо.

Пехота! О, ей сладко бить врага,
и этим мёдом брякнут винно лозы,
готовые исторгнуться в рога
пирующих богов. В хвосте обоза

пыхтя бензином панцирно ползут
комбайны весёлой, красной жатвы,
над ними растекается мазут
беззвёздной ночи, тьмы свисают патлы;

идут войска, и держат клином строй

поднявшись в небо боевые птицы,
и солнце чёрное встаёт второй зарёй,
и не даёт проснуться или сбиться.

Трусливым псам Сената недосуг
кусать солёную от пота с кровью руку
перед войсками томно дышит юг,
а гальский север вынесет разлуку.

Институт

Расформированного института
брошенный корпус похож на межзвёздный
транспортник, снятый с маршрута.
Он нависает угрюмо и грозно
над прячущейся за деревьями, низкорослой
типовой застройкой человеческого жилья,
над кафе, устроенными для уюта.

Доминанта квартала – улей мёртвого института,
добыча юристов, падальщиков и жулья.

Он спускался с небе, опираясь о столп огня.

Старики ещё помнят это, но в старости память смутна.

Расширитель вселенной – корпус нового института
опускался, полнеба дочерно заслоня;
а земля, затаив дыханье, ждала минуты
утверждения веса межзвёздного института

там, где лет пятьдесят тому мужик понукал коня.
Мёртвый бумажный дом. Остатки цветов иссохших.
Сумрачен институт, и сгустки будущего в нём
сбиваются по углам в смолянисто-густую толщу:
так и выглядит будущее, брошенное в прошлом.
Здесь жизнь протекала обычно чехардой:
студенточка-практикантка в отделе кадров
выпрашивала у начальницы выходной,
и будь она кошкой, то хвост её был бы задран.
В курилке от дыма было не продохнуть,
младший научный состав весь день пробавлялся чаем,
но институт пролагал межпланетный, межзвёздный путь
солнечными батареями чуть качая.
Перегорали лампы, текла вода,
зимой забивали щели оконниц ватой,
коротила проводка, оборванные провода
шипели ужами двухсот-двадцями-двух ватно.
Не с кем было оставить детей, так вели сюда,
дети тайно бродили по сумрачным коридорам,
гендиректор с очками, слоистыми как слюда
мохноброво глядел удивлённо-немым кондором
и кивал головой на слова суемящегося членкора.
Не работал никто, но контора жила сама.
Через щели, забитые ватой, сквозило время.
За немытым окном кисельно густел туман,
извивались в горшках толстолиственные растенья

и мохнато росли, питаюсь не столько тем,
чем положено – то есть, водой и лучами, – сколько
общаньями будущего, свисающими со стен.
И росли на такой диете довольно бойко.
Уходили в архив отчёт, копилась пыль
(я напому забывшим, что пыль была межпланетной)
Институт – многотомный траспортник – сонно плыл
сквозь пространство как по пустыне – ковчег завета.
И качался походкой несущих его людей.

Послы

I
Дрёма и сон – не одно и то же:
сумрачный лес, наводящий ужас,
старый колдун с обугленной веткой,
скачущий в дыме; слеза по коже
сморщенной хуже гриба, и стужа,
слышная в каждом порыве ветра.
Полупроснувшийся, полууснувший,
мыслящий медленно, длинно, вязко,
сбитый в колтун, обнищавший разум:
щёлки на плёнку такие души —
кадр, подёрнут рябою ряской,
будто отказывает безотказный
душеснимательный аппарат.

На языческой Каме, дремучей Каме
московский писарь, какой бы ни был
(плюгавый мужик с худыми руками,
плешью на темени, носом сбитым)
всё равно свидетельствует собою
весь свет пробуждения христианский.

II

На обочине, среди мусора пианино брошено.

Лак растрескался, зубы выбиты, зубы-клавиши, жилы
скручены,

струны лопнули. Было целое – разве было хорошее?

Гроб со струнами, с молоточками. А играл ли кто? Необу-
чены.

Может, тётка в давнишней юности
развлекала соседей гаммами;

из гостей кто-то спьяну сунулся

и исполнил романс чувствительный, называя всех жен-
щин дамами,

(представлял себя офицером
с эполетами и усами)...

Нет, когда оно было целым,
оно было таким же самым.

Но среди бытового мусора,

перед самой последней смертью,
означает собою музыку —
все симфонии и концерты.

III

Так посланник большой державы
где-нибудь на далёком острове
прокликает дикарские нравы,
напивается пьяным в доску и
означает, валяясь в луже
все военно-морские силы
дым от пороха, звон оружия
от прибытия до могилы.

Охота

I

В арктическом море, в чернилах по грудь пароход,
как крупная белая рыба с тяжёлым подбрюшьем,
идёт, завихряя пространство симфонией нот
Чайковского. Пасмурно. Ветер боится нарушить
взаиморазмерность, не знавшую этих широт.

Динамики запись транслируют над пустырём,
идушим волнами, как шерстью курчавой – овчина.
Движения нет. Ах, не айсбергом – монастырём

корабль воздвигся, и с палубы смотрят мужчины:
кто вниз – на барашки, кто вдаль – на седой окоём.

Единственный цвет – это вымпел на мачте. Пейзаж

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.